

25 мая. - с. 2.

Писатель всегда у себя дома

24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 56 лет. Это первый день рождения, который цивилизованная Москва отмечает после кончины великого поэта — вечером в ЦДЛ, собранием его почитателей и литераторов во главе с поэтом Евгением Рейном.

Публикуемое интервью с Бродским — фрагмент его большой беседы с Соломоном Волковым, опубликованной в середине 80-х годов в парижском журнале "Континент".

— Что чувствует поэт, живущий в чужой стране, но продолжающий писать на родном языке?

— Ничего особенного не чувствует. Кажется, это был Томас Манн, который сказал, перебравшись жить сюда, в Америку: "Немецкая изящная словесность там, где я нахожусь". Все.

— Но ведь между прозой и поэзией есть некоторая разница.

— Со стихами, конечно, дело сложнее. Потому что проза — это просто завелся и... В прозе есть тот механический элемент, который, видимо, сильно помогает. Что касается стихописания — это, конечно, несколько сложнее. Для того чтобы стихи написать, надо все время вариться в идиоматике языка. То есть слушать его все время — в гастрономе, в трамвае, в пивном ларьке, в очереди и так далее. Или совсем его не слушать.

— Когда вы пишете стихи, обращаетесь ли вы при этом к какой-то подразумеваемой аудитории?

— Знаете, как Стравинский ответил на подобный же вопрос? По-моему, Роберт Крафт спросил у Стравинского: "Для кого вы пишете?" Тот ответил: "Для себя и для гипотетического другого лица". Все.

— А это гипотетическое другое лицо в вашем случае говорит, вероятно, по-русски?

— Пожалуй... Точнее, я и не задумывался о том, на каком языке оно говорит.

— И где оно в таком случае живет, это гипотетическое лицо?

— А черт его знает... Это его личное дело. Поэт работает с голоса, со звука. Сохранение для него не так важно, как это принято думать. Поэтому поэт чрезвычайно редко задумывается, кто же на самом деле составляет его аудиторию. То есть по крайней мере он задумывается над этим гораздо реже, чем прозаик.

— Как вы относитесь к такому парадоксальному явлению: многие из тех, кого можно было бы назвать лидерами современной русской культуры, живут вне метрополии, на Западе? Такова ситуация в прозе, поэзии, музыке, балете, философии.

— Дело в том, что русские люди всегда в той или иной степени выходцы из России. Они всегда активно участвовали в культурной жизни Запада. Ну возьмите я не знаю кого — Дягилева, Бакста, Стравинского, кого хотите. С литературой это было несколько иначе, но и с литературой было.

— Тургенев последние двадцать лет жизни провел главным образом за границей, умер в Буживале.

— Что Тургенев! А Федор Михайлович Достоевский? А Николай Васильевич, простите, Гоэль?

— "Мертвые души" написаны в Риме, о чем...

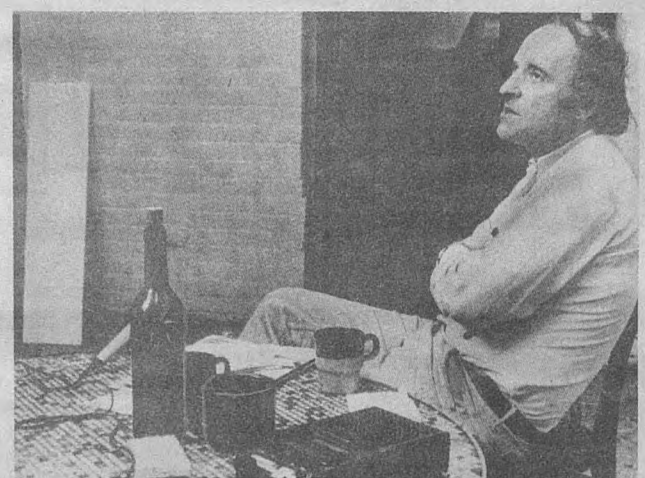
— ...о чем всегда забываю. Да? Все! Господи, почти все! За исключением бедного Александра Сергеевича, которому...

— ...которого не выпустили. Ему не дали визы.

— Совершенно точно, не дали визы... А так практически все, кто хотел, могли уехать на Запад жить или умирать. Баратынский вон умер в Италии.

— Тютчев тоже десятилетиями жил на Западе, сложился там как поэт.

— И ничего, никто не шумел по этому поводу. А Герцен? Ну там, правда, политика была замешана. Замечательный, кстати сказать, стилист Герцен. Только врет очень много. У меня есть один знакомый в Лондоне... Ну знакомый — это не то слово... Сэр Исая Берлин. У него студент был, который занялся Герценом и раскопал герценовскую переписку — я уж не помню с кем. Как раз самый момент приезда Герцена в Англию. И вот он пишет в Россию — туманы, то се, пятое—десятое. И в каждом письме: туманы, туманы, туманы. Так этот англичанин решил проверить лондонские газеты. И абсолютно никаких туманов! Федор Михайлович Достоевский тоже был, между прочим, совершенно чудовищный лжец, царство ему



небесное. Я помню, как, гуляя по Флоренции, набрел на дом, где он жил. Он оттуда посылал отчаянные письма домой — что вот, дескать, денег нет. А дом этот был напротив Палаццо Питти. То есть через Понте Веккио, напротив Палаццо Питти. Простенько.

— Яновский, друг Достоевского, подтверждает, что как раз в те дни, когда Достоевский жаловался на страшную нужду и безденежье, он останавливался в лучших гостиницах, ел в лучших ресторанах и развешивал на лучших извозчиках.

— Вообще-то автору так и следует вести себя. Тут я автора несколько не обвиняю. Тут он всегда прав. И он даже не лжец. В тех условиях, в какие автор поставлен обществом, он может себе это позволить. Непонятно еще, почему он не крадет, не убивает. Я, например, считаю, что эта идея Раскольникова насчет старухи-процентщицы — абсолютно авторская идея.

— То есть Достоевский сам мог подумывать о том, как бы ему убить старуху-процентщицу. Для него вопрос о том, как бы добыть денег, разбогатеть, — один из самых важных, просто навязчивый. Одна из постоянных тем Достоевского — как бы вдруг заработать миллион.

— Силу идеи накопления, между прочим, я на себе испытал. Помню, у меня однажды в Энн-Арборе на счету вдруг оказались три с половиной тысячи долларов. И я уже поймал на мысли: "Елки-палки, хорошо бы четыре было!" Захотелось...

— ...округлить.

— Да, округлиты И я знаю людей, для которых такое округление так и становится главным занятием.

— Что касается нью-йоркского общепита. Вы как — готовите себе сами или пользуетесь ресторанами?

— Есть такая иллюзия, что готовить самому дешевле. И это так до известной степени. Но в конечном счете это не дешевле. Потому что с этим связана масса психологических издержек. В-первых, весь этот хаос. Затем возникают бесконечные дилеммы: посуду мыть или не мыть? И если мыть, то сейчас или потом? И так далее. Поэтому, как правило, вечером я куда-нибудь выхожу.

— Здесь, в Нью-Йорке, тема экзотических ресторанов и экзотических кухонь. Какой из них вы отдаете предпочтение?

— С первого дня — китайской. В Чайнатауне, то есть Китай-городе, совершенно замечательные рестораны. Или вот еще неподалеку есть потрясающее индийское заведение. И, между прочим, на поверку все это оказывается не так уж дорого. А разница с отечественной кухней — фантастическая. Прежде всего разнообразие. И в чисто кулинарном отношении это просто совершенно другой вкусовой ряд, если угодно.

— А как же армянская и грузинская кухни в Союзе? Да еще все эти азиатские пилавы?

— Нет, это совершенно не то. Это в конце концов вариации на ту же самую тему. Если сравнивать, то я сказал бы, что русская кухня — это традиционная гармония, а китайская — это двенадцатитоновая система. Только вкусная, потому что настоящей двенадцатитоновой системы мне на обед лучше не надо. А все эти кавказские дела — один из утонченных вариантов традиционной гармонии: скажем, Шопен

или какой-нибудь другой из романтиков.

— В Нью-Йорке образовалась довольно-таки значительная русскоязычная община. Становится ли колония языковая также и артистической колонией?

— Вообще теоретически вся эта идея — артистической колонии — абсолютно фиктивная. Эта идея выросла из традиции девятнадцатого века. В Америке такое просто немыслимо, противостоит. То есть идет против естества природы. Потому что идея богемы, идея колонии возникает только в централизованном государстве. Она возникает как зеркальное отражение этой централизации: чтобы сомкнуться, чтобы противостоять.

Поэтому идея богемы, по моему, может выжить только в Москве. Поскольку более централизованного государственного аппарата, чем там, просто не существует. То есть Москва — это пока что имперская столица, действительно. Ведь в чем идея артистической колонии? В противостоянии поэта и тирана. А это возможно только тогда, когда, скажем, вечером в опере они встречаются. Тирани сидит в ложе, поэт в партере. Он представляет себя карбонарием, в воображении своем он вытаскивает револьвер. А вообще-то он борется нечто сквозь зубы и бросает гневный взгляд. Вот и вся идея богемы. Россия — страна с огромными ресурсами, с невероятными человеческими возможностями... И какой бы отток культуры, интеллигенции из нее ни происходил, она рано или поздно из своих недр что-нибудь эдакое выдаст и всех удивит.

— Вам здесь делали операции на сердце. И я от разных людей слышу разное о вашем здоровье...

— На самом деле все очень просто. Был инфаркт, после чего я два года кое-как мыкался... А когда болит, тогда действительно страшно. Чрезвычайно неприятно. И делать ты ничего не можешь. И не то чтобы это был действительно страх... Потому что ко всему этому привыкаешь в конце концов. И возникает такое ощущение, что когда ты прибудешь туда, то там будет написано: "Коля и Маша были здесь". То есть ощущение, что ты там уже был, все это видел и знаешь.

— А как вы себя чувствовали перед тем, как ложиться на первую операцию?

— Я довольно сильно боялся. Ну все-таки сердце! Мы с сердцем привыкли отождествлять себя, свои представления о себе. Это старая романтическая традиция. А в моем случае это усугублялось тем обстоятельством, что я вообще-то считался в крови у человека душа, как это написано в книге Левит. Помните? "Не еште крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его"... Меня всегда интересовало, где у человека душа. И когда я это прочел, мне все стало ясно. Поэтому я перед этой откачкой крови несколько нервничал.

Так вот, некоторое время было очень страшно, пока мне в голову не пришла довольно простая мысль. Я даже помню, как это случилось, произошел чуть ли не диалог с самим собой. Я сказал себе: "Ну да, это сердце... Но все-таки ведь не мозг? Это же не мозг!" И как только я подумал это, мне сильно полегчало. Так что обошлось как-то.

Фото Марианны ВОЛКОВОЙ.